

## СОДЕРЖАНИЕ

Уильям Гибсон	
РЕКОМБИНАНТНЫЙ ГОРОД. Предисловие .....	9
I. ПРИЗМА, ЗЕРКАЛО, ЛИНЗА .....	13
II. РУИНЫ УТРА .....	73
III. ДОМ ТОПОРА .....	131
IV. ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ .....	324
V. ПОРОЖДЕНИЯ СВЕТА И ТЬМЫ .....	439
VI. ПАЛИМПСЕСТ .....	572
VII. АНАФЕМАТА: ЧУМНОЙ ДНЕВНИК .....	732

Уильям Гибсон

РЕКОМБИНАНТНЫЙ ГОРОД

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Дальгрэн» Сэмюэла Дилэни — город в прозе, лабиринт, исполинский конструктор, и читатель входит туда, отыскав любую из множества дверей. Поселившись в памяти, «Дальгрэн» становится климатом, временем года. Он вращается на горизонте сознания, он обладает собственной уникальной гравитацией, он — приливная сила, что подталкивает читателя войти вновь. «Дальгрэн» — литературная сингулярность. Плод неустанной концептуальной отваги, созданный самым поразительным стилистом, что рождался в культуре американской фантастики.

Я эту книгу никогда не понимал. Порой мне чудилось, будто я понял отчасти или стою почти на грани понимания. Что ничуть не смущало меня и вовсе не мешало наслаждаться текстом. Наоборот, если уж на то пошло.

«Дальгрэн» существует не для того, чтобы его наконец поняли. Я думаю, его «тайна» никогда и не подлежала «разгадке». И я думаю, дело не в том, что автор или текст невнятны. По-моему, и тот и другой внятны на редкость. И автор, и текст бесповоротно самоосознанны — менее отважным исследователям и их повествованиям такая самоосознанность и не снилась. «Дальгрэн» — в буквальном смысле экспериментальный роман, исследование культурной обертки художественной литературы. Вооружившись накопленным инструментарием литературного модернизма, Дилэни направляется напрямик к границам, граням, интуитивным конвенциям акта литературы. И что удивительнее всего — а по моему опыту, практически уникально, — он добирается до пункта назначения, и его текст преобразуется в нечто иное, нечто беспрецедентное.

Погружение в «Дальгрэн» постепенно избавляет читателя от всевозможных данностей — зачастую и тех, что связаны с непро-

говоренными и нередко неосознанными аспектами культурного уговора с автором. В игру вступает трансгрессия — умышленный отказ дарить некие «награды», которые читатель, вероятно, полагает своими по праву. Если это квест, негодует читатель, сообщите мне хотя бы цель поисков. Если это детектив, пускай мне опишут хотя бы природу загадки. А «Дальгрэн» не отвечает. Но что это за рекомбинантный город, спрашивает читатель, что за метаморфический уличный пейзаж Среднего Запада, преобразенный неведомо чем — то ли объектом, то ли процессом, — где переменам подвержено все и даже в небесах горят предвечные знамения Таро?

А «Дальгрэн» не отвечает — но продолжается.

Вращается. Сигил из меди и хрустала, бетона и плоти.

Я вписываю «Дальгрэн» в такой исторический контекст:

Все, кто сейчас моложе тридцати пяти, не помнят сингулярности, что объяла Америку в шестидесятых годах двадцатого века, а поколение, которое испытало эту сингулярность на собственной шкуре, в основном, я так понимаю, предпочло амнезию и отрицание.

Но что-то все же случилось: в Америке возник город. (И пожалуй, Америка здесь — условное обозначение чего-то другого, возможно индустриальных государств Американского Века.) У этого города не было четкого местоположения, а его внутренняя география в основном оставалась текучей. Обитатели его, однако, в каждый конкретный миг понимали, в городе они или в Америке. Для Америки город оставался по большей части незрим. Если Америка — это «дом» и «работа», город — ни то ни другое, и потому Америке очень трудно было его разглядеть. Порой кто-нибудь, издали и мельком заметив город, хотел туда попасть, но терялся, сбивался с пути и шел назад. Многие другие, включая меня, в один прекрасный день сворачивали за угол — и перед ними распаивался город: территория невыразимых возможностей, невиданная ни в каком сне. Мы узнавали, что и в городе есть правила, — но это были другие правила. Мы шагали одной полужнакомой улицей, затем другой, а затем, быть может, выходили к парку...

Как выяснилось, в городе можно умереть, и переписи мертвых никто никогда не вел. Многие выжили там, но не вернулись. (Бытовало мнение, будто те, кто вернулся, в городе, в общем-то, и не побывали.) Но с теми, кто остался, постепенно произошло еще кое-что: мембрану разъело, Америка и город просочились друг

в друга, и сегодня нет Америки и нет города — есть лишь то, что родилось, когда они перемешались.

Я не говорю, что «Дальгрэн» — карта этого города, составленная нарочно или нечаянно; я говорю, что их родство нельзя отрицать. (Те, кто предпочел бы забыть город, утверждают, будто он не породил подлинной литературы, — но и это отрицание.)

В «Дальгрэне» выжил непосредственный опыт сингулярности, не подточенный коррозией ностальгии.

Размышляя о «Дальгрэне», я вспоминаю вот что:

Ночь на Дюпон-Сёркл в Вашингтоне, посреди закипающего гражданского бунта; когда приехала полиция с дубинками и пластиковыми щитами, кто-то швырнул коктейль Молотова в неглубокую каменную чашу мемориального адмиральского кубка<sup>1</sup>. Многие некрупные памятники в округе Колумбия ветшали, высокий фонтан на Сёркл годами, лето за летом, стоял сухим, и там, видимо, скопился мусор — в основном бумага, мятые стаканчики, брошенные детьми, которые бумажными мячиками играли в ображаемый баскетбол.

Я не слышал, как разбилась бутылка, — лишь ахнул взрывом вспыхнувший бензин, и пламя забросало асфальт черными тенями; и наши тени побежали. Побежали мы все, и в глазах девчонки из виргинского пригорода, с подбородком как у Кеннеди, я увидел то, чего никогда не видал прежде: звериную дрожь, ясный и влажный осколок древнего света под названием Паника, в котором совершенно спаялись ужас и экстаз. А затем упали первые газовые шашки, потянуло газом, и девчонка ринулась прочь, и бежала она, точно олень, и была в этот миг столь же прекрасна. А я побежал за ней и потерял ее, и порой мне чудится, что она бежит по сей день.

Спустя несколько лет, когда дебютировал «Дальгрэн», я, погружаясь в топь допанковских семидесятых, помнится, то и дело бывал бесхитростно благодарен Дилэни, ибо он так наглядно подтверждал, что некие состояния кем-то переживались взаправду.

Парк в отблесках пламени уже так далек.

---

<sup>1</sup> На площади Дюпон-Сёркл в Вашингтоне, округ Колумбия, с 1921 г. стоит мраморный фонтан в виде кубка, мемориал работы Дэниэла Честера Френча по проекту Генри Бейкона в честь контр-адмирала Сэмюэла Фрэнсиса Дюпонта (1803–1865), героя Америко-мексиканской и Гражданской войны. — *Здесь и далее примеч. перев. Переводчик благодарит за поддержку Бориса Грызунова и Валерия Пономарева.*

Я считаю, попыткам объяснить литературу категорически не стоит доверять.

Вот вам книга. Заходите.

Теперь ваша очередь.

Круговая руина.

Зеркальный зал.

Кольцо плоти.

Тлеющие окраины перестраиваются с каждым шагом. Беллона.

Напомните им обо мне.

*Ванкувер, Британская Колумбия  
23 августа 1995 г.*

# I

## ПРИЗМА, ЗЕРКАЛО, ЛИНЗА

### 1

собой ранить осенний город.

И взвыл, дабы мир дал ему имя.

Изпотьма ответило ветром.

Что знаешь ты, знаю я: астронавты пролетны, и банковские клерки перед обедом поглядывают на стенные часы; кашпошонны актрисы в сияющих рамах зеркал, и грузовые лифтеры пальцем втирают жир в стальной рычаг; студенческие волнения; знаю, что на той неделе смуглые женщины в продуктовых трясли головами, потому что за полгода все подорожало возмутительно; каков на вкус кофе, если подержать его холодным во рту целую минуту.

Целую минуту он сидел на корточках, левой ступней (босой) сжимая камешки, слушая, как шум дыхания кувырывается вниз по уступам.

За лиственной шпалерой порхал отраженный лунный свет.

Он вытер ладони о джинсы. Где был, там и есть. А где-то за-скулил ветер.

Подмигнула листва.

Ветер — не ветер, а движенье внизу среди кустов. Его рука нащупала скалу за спиной.

В двадцати футах внизу, в стороне, она встала, облаченная лишь в тени, что луна уронила с кудрявого клена; шевельнулась, и тени на ней шевельнулись.

Страх кольнул в бок, туда, где рубашка (двух средних пуговиц нет) раздулась на ветру. Мускул резиново окаймил челюсть. Когти черных волос поскребли то, что страх начертал на лбу.

Она что-то шепнула — сплошное дыхание, а ветер подхватил слова, увел значение:

— Аххххх, — от нее.

Он вытолкнул воздух из легких; почти закашлялся.

— ...Хххххх... — снова она. И смех — многогранный веселый рык под луною. — хххХХхххх, — и звука больше; может, даже его имя. Но ветер, ветер...

Она сделала шаг.

Движение перекроило тени, обнажило одну грудь. Над глазом — ромбик света. Икра и лодыжка засияли против листвы.

Вдоль ее голени тянулась царапина.

Его волосы оттянуло назад со лба. Ее волосы плеснули вперед. Она шагнула следом за ними, по листве, растопырив пальцы на камне, замерла на цыпочках и выступила из темноты теней.

Скрючившись на скале, он провез ладонями вверх по ляжкам.

Руки у него были отвратительные.

Она миновала еще одно дерево, ближе. Луна швырнула ей в грудь золотыми монетами. Крупные бурые ареолы, маленькие соски.

— Ты?..

Она сказала это тихо, в трех футах от него, глядя сверху вниз; и *все равно* в лиственной пестроте никак не разглядеть ее лица; но скулы высоки по-азиатски. Она и есть азиатка, сообразил он и подождал следующего слова, настроился на акцент. (Он умел отличать китайский от японского.)

— Ты пришел! — Мелодичный Средний Запад. — Я не знала, придешь ли! — Голос ее (чистое, шепотное сопрано...) подсказал: то, что он принял за рябь теней, отчасти было, пожалуй, страхом. — Ты здесь! — Она упала на колени в хохоте листвы. Бедра ее — спереди твердые, мягче (видно же) по бокам, и столб темноты между ними — против его обтрепанных коленей.

Она протянула руку, двумя пальцами раздвинула клетчатую ткань и коснулась его груди; пальцы проелозили вниз. Он слышал шероховатость своей шерсти.

Смех запрокинул ее лицо к луне. Он подался вперед; безветренную брешь заполнил аромат лимона. Ее круглое лицо пленительно, брови — не по-восточному густы. Ей, наверно, за тридцать, но морщинки всего две — маленькие, возле рта.

Он потянулся к ее губам раскрытыми губами, руками — к ее вискам, и руки ему покрыли ее волосы. Хрящи ее ушей горячими извивами легли ему в ладони. Она поскользнулась коленями

в листве, и сморгнула, и снова рассмеялась. Дыхание ее было точно полдень и пахло лимоном...

Он ее поцеловал; она сжала его запястья. Ожила слившаяся плоть их ртов. Силуэт ее груди, ее рука — и на груди у него, и на шерстяной рубашке — потерялась под тяжестью ее тела.

Их пальцы повстречались и перепутались на его ремне; ах, взбурливший в их поцелуе (сердце у него громко спотыкалось), сдуло прочь; затем на бедро ему дохнуло воздухом.

Они легли.

Кончиками пальцев она жестко сунула головку его хуя в жесткие волосы, и под его ногой задрожал мускул ее ноги. Он ухнул в ее жар. Когда она двигалась яростно, он крепко обнимал ее за плечи. Ее кулак камешком лежал у нее на груди. И не стихал рев, и все ревело; когда он кончал, долго и внезапно, бок ему заплескала листва.

Позже, лежа на боку, они перемешанным дыханием нагрели между собой просвет. Она шепнула:

— Ты, я думаю, прекрасен.

Он засмеялся, не разжав губ. Она изблизи посмотрела ему в глаз, в другой (он моргнул), на подбородок (за сомкнутыми губами он сжал зубы, и челюсть шевельнулась), потом на лоб. (Ему нравился ее лимонный запах.)

— ...прекрасен! — повторила она.

Он улыбнулся, гадая, правда ли.

Она спрятала в тепло руку с белыми ноготками, пальцем провела вдоль его носа, заворчала ему в щеку.

Он потянулся к ее запястью.

Она спросила:

— Твоя рука?..

И он убрал руку ей за плечо, хотел обнять.

Она вывернулась:

— У тебя что-то с?..

Он потряс головой, прижимаясь к ее волосам, влажным, прохладным, лизнул их.

За его спиной ветер тоже был прохладен. Кожа у нее под волосами горячее его языка. Он уместил руки в натопленную пещеру между их телами.

Она отодвинулась:

— Твои *руки!*..



Вены змеились в волосах дождевыми червями. Кожа цементно суха; костяшки раздуты мозольной коростой. Тупые большие пальцы жабами легли ей между грудей.

Она насупилась, придвинула кулачок к его костяшкам, замерла.

Она была морем подлунным; пальцы его — шишковатыми полуостровами. На оконечности каждого — ободранная, изгрызенная хитиновая развалина.

— Ты?.. — начал он.

Нет, они не искалечены. Но они... *уродливы!* Она подняла глаза. Заморгала, и они заблестели.

— ...ты знаешь, как меня?.. — Он вдруг осип. — Кто... я?

В лице ее не было тонкости, но в улыбке, покаянной и уместившейся в основном между лбом и эпикантусом, — растерянность.

— У тебя, — сказала она, полногласно и церемонно (но кое-какие обертоны ветер все же стер), — есть отец. — Она тепло прижималась бедром к его животу. Воздух, до сей поры вроде мягкий, ножом разжимал ему ляжки. — У тебя есть *мам!*.. — Это он щекой прижался к ее губам. Но она отвернула лицо. — Ты... — она бледной рукой накрыла его ручищу (такая маленькая обезьянка — а такие *громадные* руки, ласково сказал кто-то. Он запомнил) у себя на ребрах, — прекрасен. Откуда-то пришел. Куда-то идешь. — И вздохнула.

— Но... — Он сглотнул все, что застряло в горле (он был не *настолько* мал). — Я потерял... не знаю что.

— Ты стал нынешним из-за того, что было, — продекламировала она. — Ты станешь будущим из-за того, что есть.

— Я хочу что-то вернуть!

Она завела руку назад, прижала его к себе теснее. Холодный колодец между его животом и ее поясницей схлопнулся.

— А чего у тебя нет? — Она оглянулась через плечо. — Тебе лет-то сколько?

— Двадцать семь.

— А по лицу гораздо моложе. — Она хихикнула. — Я думала, тебе... шестнадцать! А по рукам гораздо старше...

— И мерзее?

— ...бессердечнее, чем, пожалуй, на самом деле. Ты где родился?

— Нью-Йорк, север штата. Города ты не знаешь. Я там пробыл недолго.

— Скорее всего, не знаю. Далеко ты забрался.

— Был в Японии. И Австралии.

— Образованный?

Он засмеялся. Его грудь сотрясла ей плечо.

— Год в Колумбии. Еще почти год в двухгодичном колледже в Делавэре. Диплома нет.

— Ты в каком году родился?

— В тысяча девятьсот сорок восьмом. В Центральной Америке тоже был. В Мексике. Только что из Мексики и...

— Что ты хочешь изменить в этом мире? — продолжила декламацию она, отведя взгляд. — Что сохранить? Чего ищешь? Чего бежишь?

— Ничего, — ответил он. — И ничего. И ничего. И... ничего — по крайней мере, я не в курсе.

— У тебя нет цели?

— Хочу добраться до Беллоны и... — Он усмехнулся. — Цель — как у всех... ну, во взаимдашнем мире: пережить еще секунду, не лишившись разума.

Еще секунда миновала.

— Правда? — по правде переспросила она, отчего правдиво было бы признать, что слова его были искусственны (а в мыслях: разум ежесекундно под угрозой). — Тогда радуйся, что ты не просто персонаж, начирканный на полях чьей-то потерянной тетради: ты был бы скучен смертельно. Тебе что, *вообще* незачем туда идти?

— Добраться до Беллоны и...

На этом он умолк, и она сказала:

— Можешь не говорить. То есть ты не знаешь, кто ты? Выяснить *это* — слишком просто, необязательно переться сюда аж с севера штата Нью-Йорк через Японию. Аххх. — И она осеклась.

— Что?

— Ничего.

— Что?

— Ну, если ты родился в сорок восьмом, ты старше двадцати семи.

— То есть?

— Да блин, — сказала она. — Не важно.

Он медленно поколыхал ее локоть.

Она сказала:

— Я родилась в тысяча девятьсот сорок седьмом. И я *гораздо* старше двадцати восьми. — Она снова ему поморгала. — Но правда, это не важ...

Он откатился прочь по шумной листве.

— Ты знаешь, кто я? — (Ночь была эдакого цвета — облако пополам с ясным светом.) — Ты пришла сюда меня искать. Можешь сказать, как меня зовут?

Холод маслом растекся по его боку, где прежде была она.

Он повернул голову.

— Пошли! — Она села, и волосы ее зазмеились к нему. В лицо ему бросилась горсть листьев.

Он тоже сел.

Но она уже бежала — ноги мелькали в лунной пестроте.

Интересно, откуда у нее эта царапина.

Цапнув штаны, он сунул в них ногу и ногу, цапнув рубашку и одинокую сандалию, перекатился и встал...

Она сворачивала за скалу.

Он задержался — застегнуть ширинку и двойной шпенек на ремне. Ноги ему жевали прутики и гравий. Во она носится!

Он подбежал, а она обернулась; он положил ладонь на камень и вздрогнул: скала была влажна. Поглядел — на основании ладони и большого пальца земляное крошево.

— Вон там... — Она указала в пещеру. — Видишь?

Он потянулся было к ее плечу — но нет.

Она сказала:

— Иди. Заходи внутрь.

Он уронил сандалию — зашелестели кусты. Он уронил рубашку, придушив шелест.

Она посмотрела на него выжидательно, посторонилась.

Он шагнул внутрь: мох под пяткой, под подушечкой стопы мокрый камень. Шаг другой стопой — мокрый камень.

Вокруг трепетало дыхание. В железной темноте щеку погладило что-то сухое. Он пощупал: мертвая лоза с запекшейся листвой. Лоза качнулась — что-то затрещало ужасно высоко над головой. Пред внутренним взором замаячил гибельный обрыв; он скользом двинул ногу вперед. Пальцы нащупали: прутик с отошедшей корой... ком влажных листьев... водяную дрожь... Еще шаг — вода лизнула ногу. Он снова шагнул.

Только камень.

Слева вспышка.

Шагнул снова, и вспышка стала оранжева, чем-то заслонена — стенкой скальной ниши, тень вместо свода, — и еще шаг.

Сухая ветка, а за ней медное блюдо — широченное, с автомобильную покрывку: догорело чуть ли не до углей. В остатках огня что-то хрустнуло, брызнув искрами на влажный камень.

Впереди, где вспышка просочилась высоко в сужающийся пролом, что-то отразило и отшвырнуло назад высветы.

Он вскарабкался, обогнув один валун, подождал; эхо дыхания и горения размечало размеры пещеры. Он примерился к расщелине, прыгнул согласно подсчетам и полез по дальнему склону. Из-под ног что-то сыпалось. Камешки в провале жалобно простучали по скалам, запнулись, зашептались — и тишина.

И всплеск!

Он свел плечи; а он-то думал, глубины всего ярд, не больше.

Лезть пришлось долго. На некоторое время его притормозила пятнадцатифутовая стена. Обошел ее сбоку, вскарабкался там, где порода выходила не так гладко. Нашел толстый гребень, подтянулся, всполз — оказалось, что это корень. Интересно чей, подумал он и выбрался на карниз.

В шести дюймах от его носа что-то тихонько взвизгнуло: «И-и-ик!» — и улепетнуло в лежалую листву.

Он сглотнул, и прилив колючих мурашек по плечам схлынул. Он в последний раз подтянулся и встал.

Они лежали в расщелине, косо уходившей в открытую небу тень.

Одним концом okayмив хохол папоротника.

Он протянул руку, заслонив свет жаровни, мерцавшей внизу; мерцание погасло.

Снова накатил страх — и не страх прежде виданного и неожиданного или внезапно возникшего позади. Он пошарил в себе, поискал физических признаков, что придадут страху реальности: заторопившегося дыхания, замедлившегося пульса. Но страшное было неуловимо, как отъединение души. Он подобрал цепочку; один конец ее хихикнул и замигал, скользнув с камня. С цепочкой в руках он развернулся к оранжевому мерцанию.

Призмы.

Ну, местами.

А другие круглые.

Он пропустил цепочку сквозь пальцы. Некоторые кругляши прозрачны. Проползая через пустоты между пальцами, они преломляли свет. Он поднес цепочку к глазам и посмотрел сквозь линзу. Но линза была матовая. Наклонив ее, он различил тоннель, мутный и уходящий в глубину кругляша на несколько дюймов, и в трепещущем стекле затрепетал его собственный глаз.

Стояла тишина.

Он снова протащил цепочку по ладони. Случайный набор бусин, почти девять футов длиной. И у цепочки три хвоста. Все три конца закольцованы. На самой большой петле — маленькая металлическая бирка.

Он нагнулся к свету.

Сантиметр меди (звенья, вделанные в оптические детали, были медные) гласил: «producto do Brazil»<sup>1</sup>.

Это что вообще за португальский такой? — подумал он.

Еще посидел, взглядом скользя по блестящим хвостам.

Хотел было стрести их, засунуть в карман джинсов, но три перепутанных ярда вытекли из ладоней. Он поднялся, отыскал самую крупную петлю, пригнул голову. Вершины и ребра куснули шею. Он собрал колечки под подбородком и ощупью (а в мыслях: руки-крюки, бля) замкнул застежку.

Посмотрел на цепочку, что петлями света свернулась под ногами. С ляжки снял самый короткий конец. Там петля поменьше.

Он подождал, даже затаил дыхание — а потом дважды обернул хвостом плечо, дважды предплечье и застегнул на запястье. Ладонью придавил звенья и бусины — твердые, пластмасса или металл. Волосы на груди пощекотали складку между фалангами.

Самый длинный хвост он пропустил через спину: цепочка покрыла лопатки холодными поцелуями бусин. Потом через грудь; опять через спину; по животу. Одной рукой придерживая хвост (тот все еще свешивался на камни), другой расстегнул ремень.

Спустив штаны до лодыжек, последним хвостом обмотал бока; затем правое бедро; и еще один круг; и еще. Последнюю застежку замкнул на лодыжке. Натянув брюки, подошел к краю, застегнул ремень и развернулся задом, готовясь спускаться.

Оковы чувствовались. Но когда он грудью прильнул к скале, они лишь расчертили его, но не порезали.

<sup>1</sup> *Зд.: «Продукт из Бразилии» (искаж. португ.).*

На сей раз он пошел туда, где расщелина была всего в фут шириной, и ступил далеко от края. Зев пещеры — лямбда лунного марева, обшитая листовым кружевом.

Камни лизали ему подошвы. Один раз внимание рассеялось, но его вновь сосредоточила холодная вода вокруг ступни; звенья цепочки согрелись на коже. Он остановился, подождал, не станет ли теплее; но цепочка была нейтральным грузом.

Он шагнул в мох.

Его рубашка валялась на кусте; под ней кверху подошвой — сандалия.

Он сунул руки в шерстяные рукава; из манжеты мигнуло правое запястье. Он застегнул сандалию; земля увлажнила колено.

Он поднялся, повертел головой и сощурился, вглядываясь в сумрак:

— Эй?..

Обернулся влево, обернулся вправо, широким большим пальцем почесал ключицу:

— Эй, а куда?..

Вправо, влево; жаль, что он не умеет читать следы и сломанные веточки. Она бы не возвращалась той дорогой, которой они пришли...

Он выступил из пещеры в слоистую черноту. Она здесь пройти-то могла? — подумал он, сделав три шага. Но двинулся дальше.

Он принял дорогу за лунный свет в тот миг, когда нога в сандалиии вонзилась в грязь. Босую он забросил на каменистую обочину. Выкарабкался на асфальт, одной ступней скользя по мокрой кожаной подошве, с шипением перевел дух и огляделся.

Слева дорога шла в горку меж деревьев. Он повернул вправо. Дорога вниз приведет его в город.

По одну руку лес. По другую, сообразил он, сколько прорысыв шагов десять, — только древесная изгородь. Еще шагов десять — и деревья отступили. За ними ему шелестела трава — велела потише.

Она стояла в самом центре луга.

Он сдвинул ноги — одна в сбруе и грязи, другая боса и в пыли; внезапно загрохотало сердце; он услышал, как удивленным вздохом огрызнулся на траву — сама, дескать, потише. Перешагнув канаву, ступил на плохо стриженную травяную щетину.

Она слишком высокая, подумал он, приближаясь.

Волосы вздыбились у нее над плечами; вновь зашелестела трава.

Ну *да*, она выше его, но все-таки не...

— Эй, я нашел!..

Она задрала руки над головой. На пенек, что ли, взобралась? На пьедестал?

— Эй?..

Она развернулась всем корпусом:

— А *ты* что тут делаешь?

Сначала ему почудилось, что она до бедер в грязи.

— Я думал, ты...

Но грязь бурая, как запекшаяся кровь.

Она взирала на него сверху вниз, хлопая ресницами.

Грязь? Кровь? Цветом ни то и ни это.

— Уходи!

Он гипнотически шагнул снова.

— Ты что тут *делаешь*? Уходи!

Пятна у нее под грудью — это что, стружья?

— Смотри, я нашел! А теперь ты скажешь, как меня?..

В пальцах она сжимала листья. И так высоко задрала руки! Листья посыпались ей на плечи. Длинные-длинные пальцы задрожали, и хрупкая тьма покрыла бок. Бледный живот вздрагивал вздохами.

— Нет!

Она отшатнулась, когда он потянулся к ней, — и застыла косо-боко. Рука ее, ветвистая и ветвившаяся в десяти футах над ним, заволокла траву паутиной тени.

— Ты!.. — Вот что он попытался произнести; но изо рта вырвалось лишь дыхание.

Он посмотрел вверх, меж веточек ее ушей. С ее бровей посыпалась листва. Губы ее — толстая корявая культия, точно сук в фут толщиной отсекло молнией. Глаза ее — он раскрыл рот, запрокидывая голову, вглядываясь, — исчезли в вышине, сначала один, высоко-высоко, потом другой; короста век плотно сомкнулась.

Он попятился по жесткой траве.

Листик обгорелым мотыльком врезался ему в висок.

Шершавыми пальцами колотя себя по губам, он споткнулся, развернулся, выскочил на дорогу, снова глянул туда, где корявый

ствол тянул к луне пятипалые ветвистые грабли, и бежал вприпрыжку, пока не перешел поневоле на шаг, и шагал — задыхаясь, — пока не восстановилась способность думать. А потом еще немного пробежал.

## 2

Не сказать, что у меня нет прошлого. Просто оно бесконечно дробится об ужасную и отчетливую эфемерность настоящего. В долгой стране, иссеченной дождем, как-то не с чего и начать. На бегу и на ходу по выбитым колеям проще не думать о том, что она сделала (что сделано с ней, сделано с ней, сделано), лучше уразуметь издали. И не столь было бы ужасно, если б на икре не осталось (приглядишься я, увидел бы цепочку крошечных ранок, а между ними мгновения плоти; так я делал и сам, задев розу в саду) этой царапины.

Асфальт выплеснул его на обочину шоссе. Ломаные асфальтовые кромки стесывали картинки с глаз. Рев, что мчался к нему, донесся, лишь когда миновал. Он глянул через плечо; красные задние глаза грузовика ввалились и слились. Он шагал еще час и больше машин не видел.

«Мэк» с двойным прицепом рыгнул в двадцати футах позади, обмяк до полной остановки в двадцати футах впереди. А он даже не стопил. Кинулся к открытой кабине, втащил себя наверх, хлопнул дверцей. Шофер, высокий, блондинистый и прыщавый, посмотрел без тени мысли, отпустил сцепление.

Он хотел поблагодарить, но закашлялся. Может, шоферу охота с кем-нибудь потреться? Зачем еще подбирать человека, просто идущего по дороге?

Треться неохота. Но что-то сказать надо.

— Что везете?

— Артишоки.

Приближающиеся огни высветили шоферу лицо, оспину за оспиной.

Они дальше заколтыхались по шоссе.

Больше в голову ничего не приходило, вот разве что: я, понимаете, только что любил одну женщину, и вы ни за что не угадаете... Нет, история про Дафну не прокатит...



Поговорить хотелось ему! Шофера вполне устраивали фатические благодарности и болтовня. Западная независимость? Он немало помотался стопом по этим краям и считал, что тут сплошь маниакальный ужас.

Он запрокинул голову. Поговорить охота, а сказать нечего.

Страх унялся, и лукавство страха лепило архитектуру улыбки, с которой боролись губы.

Спустя двадцать минут он увидел вереницу шоссейных огней и подался вперед — посмотреть на съезд. Глянул на шофера — тот как раз отводил взгляд. Захрипели тормоза, и кабина рывками замедлилась.

Машина остановилась. Шофер пососал рябые щеки, повернулся — во взгляде по-прежнему ничего.

Он кивнул, как бы улыбнулся, нащупал ручку, спрыгнул на дорогу; дверца стукнула, и грузовик тронулся, пока он еще готовил благодарность; пришлось уворачиваться от угла прицепа.

Грузовик с грохотом свернул с шоссе.

Мы произнесли всего по одной реплике.

Как странно, что этот ритуальный диалог исчерпал общение. (И это — ужас?) Что за удивительные и увлекательные ритуалы мы нынче практикуем? (Он стоял на обочине и смеялся.) Что за вращение и натяжение во рту побуждает смеяться в этой ветреной, ветреной, ветреной...

Здесь сплелись узлом эстакада и тоннель. Он шагал... гордо? Да, гордо, вдоль низкого парапета.

За водой замигал город.

Полумилей ниже огонь с набережной швырялся дымом в небеса и отражениями в реку. А здесь ни одна машина не съехала с моста. Ни одна не заехала на мост.

Вот будка контролера — как и вся шеренга будок, она темна. Он зашел: фасадное стекло разбито, табурет перевернут, в касе нет ящика — треть клавиш заклинило, кое-какие погнуты. У некоторых не доставало головок. Разбиты булавой, молотком, кулаком? Он провел по клавишам пальцами, послушал щелчки, затем шагнул со сбрызнутого стеклом резинового коврика через порог и на мостовую.

На пешеходные мостки вела железная лесенка. Но машин не было, так что он пересек две пустые полосы — там, где черный асфальт отполировали покрывки, блестела армирующая сетка, —

и захромал по прерывистой разделительной, нога в сандалиии по одну сторону, босая — по другую. Мимо проплывали балки, слева и справа. Впереди над бледным перевернутым отражением своих пожаров скорчился горящий город.

Он глядел на взъерошенную ветром рубчатую ночную воду и принюхивался — пахнет ли гарью. Ветер раздвинул волосы на загривке; дым уползал с реки.

— Эй, ты!

Он поднял глаза на неожиданный фонарик:

— Чего?..

С мостков темноту пронзил еще фонарик и еще.

— В Беллону идешь?

— Ну да.

Щурясь, он выдавил улыбку. Один, потом другой огонек сдвинулись на несколько шагов, остановились. Он сказал:

— А вы... уходите?

— Ага. Там, знаешь ли, закрыто.

Он кивнул:

— Но я не видел ни солдат, ни полиции, ничего такого. Доехал стопом.

— И как улов?

— На последних двадцати милях попало только два грузовика. Второй подвез.

— А отсюда?

Он пожал плечами:

— Я думаю, девчонкам-то несложно будет. Если кто проедет, наверняка вас подберет. Куда направляетесь?

— Мы вдвоем хотим в Нью-Йорк. Джуди хочет в Сан-Франциско.

— Мне бы *хоть куда-нибудь*, — слетело вниз нытье. — У меня температура! Мне в постели надо лежать. Я три дня и *лежала*.

— Путь неблизкий, — сказал он. — В оба конца.

— А Сан-Франциско цел?..

— ...А Нью-Йорк?

— Да. — Он взгляделся во тьму позади фонариков. — О том, что тут творится, даже в газетах уже не пишут.

— Но как же! А телевизор? А радио?..

— Дура, это все тут не работает. Откуда им узнать?

— Но... ой, ну ни фиги себе!..